
Слезы сильнее логики: персонализм Альберта Соболева

© 2020 г. В.П. Визгин

*Институт философии РАН,
Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.*

E-mail: vizgin.viktor@yandex.ru

Поступила 14.01.2020

Статья посвящена анализу персонализма известного историка русской философии А.В. Соболева (1936–2019). Персоналистическое знание, считал он, есть знание не столько о безличных идеях, сколько — о людях, выдвигающих их и живущих ими. Система безличных идей выступала для Соболева как вторичное интеллектуальное содержание, которое несложно понять и тем самым исчерпать его смысл и значение. Люди, выдвигающие идеи в определенных и в то же время изменяющихся личностно-биографических и социально-исторических ситуациях, воспринимались и оценивались им как творчески подвижные личности, находящиеся в связке ансамбля поколений. Персоналистический характер философского знания, по Соболеву, означал, прежде всего, безусловную включенность такого знания в конкретную национальную культуру. При этом понимать философию можно было только через исследование целостных культурных пластов, в контексте которых она жила и развивалась. Вживание в ее историко-культурный контекст Соболев считал необходимой основой для понимания концептуальных построений философской мысли. По мнению автора статьи, соболевский персонализм характеризуется подчеркнутым культуроцентризмом. Кроме того, его следует обозначить как христианский спиритуализм в онтологии, интуитивизм с апофатическим подходом в гносеологии и художественность в стиле и технике познающей мысли. Такие принципы не могут не вести к требованиям музыкальности и косвенности философской речи как гарантиям ее глубины и продуктивности.

Ключевые слова: русская философия, христианский и метафизический персонализм, А.В. Соболев, С.М. Половинкин, эпистемология персонализма, внефилософские предпосылки философии.

DOI: 10.21146/0042–8744–2020–11-166-177

Цитирование: *Визгин В.П.* Слезы сильнее логики: персонализм Альберта Соболева // *Вопросы философии.* 2020. № 11. С. 166–177.

Albert Sobolev's Personalism: Tears Stronger than the Logic

© 2020 Viktor P. Vizgin

*Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,
12/1, Goncharnaya str., Moscow, 109240, Russian Federation.*

E-mail: vizgin.viktor@yandex.ru

Received 14.01.2020

The article is devoted to the analysis of the Albert Sobolev's Personalism. Albert Sobolev (1936–2019) is the Historian of Russian Philosophy, but he was the original thinker too. The author consider the Sobolev's personalistic Weltanschauung using the Sobolev's intellectual heritage and personal remembrances concerning the life and philosophical activity of his friend. The Sobolev's philosophical opinions were influenced by famous Russian thinkers of Silver Age as Semen L. Frank, Pavel A. Florensky and some others. The author tries to reconstruct the social and cultural context of the spiritual and artistic development of his hero. One of the author's aim is showing the significance of the philosophical dialogue between Sobolev and his friend and constant opponent Sergey M. Polovinkin (1935–2018), the famous researcher of Russian Philosophy too. The chief Sobolev's affirmation is that the spiritual and the emotional human state is more important in the philosophical creation than the pure logic. According to the author of the article, Sobolev's personalism characterized by emphasized culture-centrism and should be designated as Christian spiritualism in ontology, intuitionism with an apophatic approach in epistemology, and artistry in the style and technique of cognizing thought. Such principles cannot but lead to the requirements of musicality and indirectness of philosophical speech as guarantors of its depth and productivity.

Keywords: Russian Philosophy, existential Philosophy, Christian and metaphysical personalism, A.V. Sobolev, S.M. Polovinkin, personalistic epistemology, extraphilosophical preconditions of philosophy.

DOI: 10.21146/0042–8744–2020–11-166-177

Citation: Viktor P. Vizgin (2020) "Albert Sobolev's Personalism: Tears Stronger than the Logic", *Voprosy filosofii*, Vol. 11 (2020), pp. 166–177.

В мае исполнился год, как умер Альберт Васильевич Соболев (01.04.1936–10.05.2019). Он, как и многие другие книгочеи, читал с карандашом, в самых важных для него местах ставя на полях один, долгое время казавшийся мне загадочным, знак – ЭП. Иногда он его сопровождал знаком восклицания, усиливая смысл значимой для него аббревиатуры. Немало его книг с подобными пометками прошло сквозь мое чтение. Но спросить у него, что эти буквы означают, я так и не догадался. Но недавно меня осенила догадка: а не шифрует ли таинственная аббревиатура ключевое слово Альберта «*эпистемологию персонализма*»?

У Соболева не так много публикаций. Но он их готовил без спешки, продумывая не только основную мысль и ее обоснование, но и способ ее подачи, обеспечивающий убедительность сказанного. Одна работа с громоздким, но точным по смыслу названием «О персоналистической гносеологии (или О сближении познания и искусства в русской мысли XX века)» заметно выделяется из собрания его статей как своим объемом, так и, главное, значимостью выраженной в ней позиции [Соболев 2008, 251–281].

Он давно ее задумывал, не спеша собирал материал, продумывая яркие цитаты, что всегда было излюбленным приемом его публичной речи. Альберт с увлечением рассказывал о ней, считая ее своей программной работой. Так оно и было. Смысл ее – в первом заглавии, а в подзаголовке указан только материал, на котором демонстрировалась не просто идея, а целая концепция персоналистической эпистемологии. Вот вам и разгадка таинственного книжного знака! Ставя *ЭП* на полях читаемых книг, Альберт, смело можно предположить, имел в виду резонанс, сходство, ассоциацию содержащихся там мыслей с его задушевной темой и даже больше – философским *credo*. Эпистемология персонализма применительно к философскому знанию – вот что интересовало Альберта и во что, как ему представлялось, он внес нечто новое и важное.

И в историко-культурной перспективе, в свете которой Альберт исследовал философскую мысль, для него, как это предполагала его методологическая программа, было важно идти как бы окольными путями, изучая прежде всего не столько сами философские концепции (это отчасти во многом по отношению к классике уже было сделано), сколько систему образования и традиции, очаги неформальной и формализованной интеллектуальной активности, круги и кружки искателей истины, связанных со своим временем, с его структурами и институтами, но в то же время способных преодолевать его инерцию, отклоняясь от его жестких императивов вместе со всем тем, что они несли с собой.

Уместно здесь прервать рассказ о персонализме Соболева и сделать такую ремарку. Хотя фокусировку своей мысли на культуре он подтверждает всем своим творчеством, но все-таки основу специфики своего персонализма сам Альберт видел не в культуроцентризме, а в чем-то другом. Из всего обширного состава культуры важнейшей ее компонентой для философского творчества он считал художественную культуру. Она им и указана в подзаголовке упомянутой программной статьи. Это персонализм *художественный*, который можно с некоторой долей условности обозначить и как *эстетический*.

Эстетический характер персонализма Соболева попытаемся рассматривать персоналистически. А персоналистическое познание предполагает обращение к человеку. Обращусь поэтому к своим личным воспоминаниям и свидетельствам других людей, знавших его в молодые годы. Восемь лучших лет жизни Альберт провел в гипсе на больничной койке. Когда его болезнь, наконец, вылечили, он с большим опозданием получил школьный аттестат и поступил на физфак МГУ. Будучи старше сокурсников на пять лет, первокурсник Соболев был уже вполне взрослым человеком. Теоретическое научное знание не казалось ему трудным, более того, он вскоре понял, что оно его и не слишком интересует. И вот начинаются его скитания по факультетам, закончившиеся тем, что с физического он перешел на философский. Но и там научный стиль изложения его не привлекал. Что же произвело на него глубокое впечатление, действительно увлекло? Незабываемыми оказались лекции по истории западноевропейского искусства, которые читал В.В. Лазарев. Переучиваться на профессионального искусствоведа было уже поздно. В результате Альберт оказался в характерной для него экзистенциальной ситуации: любить что-то всей душой, но не быть в этой сфере дипломированным специалистом. Высокий дилетантизм (от ит. *diletto* – милый, дорогой, любимый) становится его судьбой. Как на свидание, студент физфака спешил на занятия в поэтический кружок Н. Старшинова. Он и сам пробовал писать стихи. Тогда, казалось, все их сочиняли. Но жесткий, трезвый и самоуверенный ум его решил, что его стихи не многого стоят. И он бросил их сочинять. Однако русская поэзия задела его глубоко и навсегда. Опять: в душе поэт, но стихов не пишущий. Большой любитель живописи, но не работающий кистью. Рационалист до мозга костей, но не создающий концептуальных конструкций и систем, страстно исповедующий в пику своему рационализму интуитивизм, косвенную речь и метафорическо-музыкальный стиль в гуманитарном познании. И даже в религиозном самоопределении – «неверующий православный». Перепады потенциалов искрили разрядами в результате такой – окси-

моронной – конституции Альберта Соболева как личности. С такими данными он должен был стать эстетическим персоналистом. И он стал им.

Теперь пора, опираясь на программную статью Соболева, реконструировать некоторые концептуальные моменты его эпистемологии персонализма, охарактеризованную нами как эстетический персонализм, который он считал плодотворным для всего гуманитарного познания, а не только для философии. Во-первых, Соболев начинает с того, что говорит о предпочтительности жанра эссе перед жанром научной статьи, если речь идет о практике эстетического персонализма. Научная речь с ее однозначно определяемыми терминами для этого жанра непригодна. Эстетический персонализм требует «высокого косноязычия», в полной мере присущего лишь поэту. Но и философ не должен, считает Соболев, его чураться. Ведь познавательные акты, включая философию, в своей сути – так я могу реконструировать мысль Альберта – наделены духовно-подъемной силой, позволяющей проникнуть в неизведанное «нутро» вещей, а потому без какой-то степени «косноязычия» они невыразимы. Эссе, в силу особенностей этого жанра, может казаться выстроенным «клочковато» и иносказательно, поскольку в нем на главных смыслообразующих позициях оказывается косвенная речь, пронзаемая с разных сторон вспыхивающими зарницами метафор и образов. Поэтому эссе, можно сказать, «петляет» по обочинам линейно выстраиваемой логики научного – плоского в оценке Соболева – зрения. Внимание эссеиста-философа, напротив, объемно. Оно подкрадывается к сокрытому предмету, «параболой гневно пробив потолок». Именно так написано, и эта не научная статья в строгом смысле, а именно эссе об эпистемологии персонализма. Реминисценции чисто философские перемешаны в нем с озарившими ищущую мысль Соболева откровениями поэтов и ученых, высказывающихся о роли поэзии и вдохновения в научном творчестве.

Во-вторых, Соболев начинает с привычного для философа хайдеггеровского различения между сущим и существованием¹. Это, на мой взгляд, пожалуй, самое слабое место в его художественно выстраиваемой аргументации основ эстетического персонализма. Но важен ему здесь не сам Хайдеггер, не правомерность такого различения в онтологии, а сама идея дуализма как наличия разновысоких уровней бытия, предполагающих ценностную иерархию между ними. Ибо главный «водораздел мысли» Соболева (это выражение и соответствующие работы Флоренского он особенно высоко ценил) выстраивается на таких категориальных рядах:

Сущее – низкий онтологический уровень – безличное научное и наукообразное познание;

Бытие – высший онтологический уровень – личностное (персоналистическое) художественное познание.

Приборы науки, говорит Соболев, «фиксируют лишь изменения в сущем. Улавливать же перемены в бытии может только один “прибор” – человеческая личность» [Соболев 2008, 252]. Работать с этим «прибором» Альберту и хотелось, в такой работе он видел залог плодотворности философского познания и всей гуманитарной культуры.

В-третьих, эпистемология персонализма, по Соболеву, требовала особенного, а именно приподнято чуткого состояния познающей личности. Альберт Васильевич легко загорался поразившей его мыслью, лаконизмом и силой ее выражения. Он верил в познание в состоянии духовного подъема, когда искатель истины, будучи увлеченным какой-то неожиданно открывшейся ему правдой, выражает ее художественно привлекательным и потому убедительным образом. Ее могли содержать высказывания философа, например, Франка («Между художником и мыслителем существует органическое духовное сродство»), или поэта («И символ горнего величья, // Как некий благостный завет, // Высокое косноязычье // Тебе даруется, поэт»), или ученого («одно обстоятельство помогало московскому математическому коллективу это... высокий уровень... гуманитарной культуры») [Там же, 251, 242, 256]. Кто именно высказывал эти суждения – не важно. Важно другое – содержащиеся в них мысли, по содержанию близкие Альберту, высказывались ярко и метко. Их правда или истинность как бы подтверждались органичной художественностью их выражения. Все приведенные нами

выше высказывания – в духе того эстетического персонализма, которым как целостной философской концепцией долгие годы, особенно последние десятилетия своей жизни, был увлечен Альберт Васильевич.

* * *

Для стереоскопической объемности очерка позволю себе оторваться от анализа особенностей соболевого персонализма и внести в его композицию другое лицо, без которого Альберта Васильевича Соболева невозможно представить. Я имею в виду Сергея Михайловича Половинкина. Алик (позвольте мне так его называть), пожалуй, больше всех его работ любил подготовленную Половинкиным и снабженную его же вступительной статьей публикацию воспоминаний князя Евгения Трубецкого [Трубецкой 2000]. В этой книге он любил все и, пусть это не покажется странным, в том числе и статью Половинкина, что с ним бывало вообще-то нечасто. Бесконечные стычки-пикирования А.В. с С.М. известны многим, кто наблюдал за этими русскими философами. Их постоянные перепалки стали своего рода традицией, ритуалом семинаров и прочих собраний исследователей русской мысли. И признание значительности получившегося издания, и благодарность своему постоянному оппоненту за чуткое отношение к семье Трубецких неслучайны для Алика. В этой книге все оказалось существенным образом ему бесценно близким. И понятно почему. Ведь даже само заглавие половинкинское предисловия к мемуарам Евгения Трубецкого («Пора начинать Великую Литургию») открыл для Сережи Алик. Это его, Альберта, долгой работой в РГАЛИ в фонде Трубецких были обнаружены документы, свидетельствующие о последних днях земного пути великого русского философа, друга и ученика Владимира Соловьева. Три последние страницы предисловия являються развернутой цитатой из воспоминаний Е.Я. Архиппова, бумаги которого обнаружил Соболев и, как пишет Половинкин, «любезно предоставил» ему и издателям этой чудной книги.

Чем же это издание так очаровало Альберта? Раскрою ее живительную привлекательность для Альберта Васильевича. Русские «дворянские гнезда» для него как философа русской культуры таили в себе особенную прелесть. Чадолубивые семьи Аксаковых, Бакуниных, Киреевских, Трубецких и многих других излучали магнетическую ауру духовного возрастания, в которой росли и воспитывались новые поколения. Персонализм Соболева как эстетически чуткий настрой познающей души невозможно себе представить без этого феномена русской культурной истории. Русская мысль, в том числе философская, рождалась и крепла именно в таких очагах семейной духовной культуры. У Трубецких это была Ахтырка, «величественная барская усадьба Empire, один из chefs d'oeuvres начала XIX столетия» [Трубецкой 2000, 44]. С шестидесятых годов, когда росли и воспитывались братья Трубецкие, Сергей и Евгений, в русской культуре наметился расцвет национально ориентированной музыкальной культуры. В атмосфере его подъема и происходило духовное становление этих замечательных лиц русской мысли. Удивительное дело, но в свете музыкально-философского опыта Трубецких, особенно Евгения, мне дополнительно прояснилось, почему Альберта так привлекало творчество Бориса Пастернака. Ведь поэт был музыкантом, выросшим в художественной семье, и к тому же учился философии в Марбурге. Музыка, поэзия и философия были в нем слиты воедино. Альберт сразу же, как только издательство «Эллис Лак» выпустило полное собрание сочинений поэта, купил все его тома.

Вернемся к теме музыки в записках князя Трубецкого. «Ничто, – вспоминает князь, – так не толкало мысль вперед как музыка» [Там же, 166]. Толстой пишет «Крейцерову сонату», гремят симфонические оркестры, казалось, из каждого московского окна звучит музыка. Это восьмидесятые годы, когда, считает князь, «единственной областью, которая тогда могла соперничать с музыкой по значительности происходивших в ней событий, была философия, где явился гениальный талант Соловьева. Так и окрасилась для меня эта эпоха – музыкой и философией. Это был полный уход внутрь, в область мысли и в область слуха... Мысли невольно, по ассоциации идей, связывались

с мелодиями, и в душе нарастало убеждение, что каждая мысль и в самом деле имеет особую мелодию, что все существующее имеет свою *абсолютную мелодию*, которая выражает его смысл» [Трубецкой 2000, 165–166]. Итак, от музыки дворянского гнезда к музыке Рубинштейна и Мусоргского, а заодно к философии Шопенгауэра и Соловьева пролегал путь Евгения Трубецкого и вместе с ним всей русской культуры. Волны поколений, плеяды лиц, связанных семейными узами и духовной близостью, атмосфера искусства, неотделимого от философского поиска смысла жизни – вот пейзаж художественно прочувствованного русского персонализма от братьев Трубецких до, не упоминая некоторых других, А.В. Соболева. Добровольцами русского персонализма они с Сергеем Михайловичем Половинкиным стали оба и ими остались до конца, хотя и понимали его столь различным образом.

Да, о персонализме всегда говорил и писал и Половинкин. Но Соболев, скажу прямо, не признавал его персонализма за персонализм настоящий, высшего ранга. Почему? Ведь персонализм, о котором говорил Половинкин, например, имея в виду Флоренского, он называл христианским. Что же, Альберт не был христианином? Да, иногда он называл себя «неверующим православным». В церковь, как мне представляется, не ходил. Но оставим религиозные убеждения. В теме персонализма речь должна идти прежде всего не о них, как бы они ни были важны для философского самоопределения мыслителя. Важнее смысл, который может связываться с персонализмом как установкой мышления. Спор Алика с Сережей не был спором на религиозном поле, а был, в первом приближении, спором теоретическим и методологическим, спором эстетика с этиком, исследователя, стремившегося быть художником в философии, с ученым от философии. Однако сциентистом по мировоззрению на самом деле Половинкин не был. Но Соболев вряд ли отдавал себе отчет, что это так. Действительно, своими утверждениями о художественной природе философского познания, причем произносимыми безапелляционным тоном, Алик Соболев бросал вызов якобы сциентистскому, по его мнению, истолкованию философии Половинкиным, хотя сам Сережа считал, по крайней мере, в поздних работах, научную философию «жареным льдом» [Половинкин 2010, 350]. Но Альберт не верил отдельным утверждениям философов, доверяя своей интуиции смысла предпочтений, проявляемых в их речах и определяющих их интеллектуальное поведение.

На самом деле манеры мысли, темпераменты и стили письма у них сильно расходились. Если у Алика мысль летит, причудливо вьется, взвихряется образами, отступлениями, соображениями, то у Сережи она спокойно, последовательно развивается на выверенной основе проверяемых документов и свидетельств. И кажется, что Половинкину ближе история философской мысли, чем сама философия. Его образ философии подхвачен был им из строгой и точной науки, такой, как математика. Сам выпускник мехмата, заставший блистательную эпоху его расцвета, он ждет, например, от Хайдеггера математически принудительных доказательств его утверждений. А когда таковых не находит, то подвергает знаменитого философа демонстративной «порке»: «Ничего не доказал, ваш хваленый Хайдеггер!».

Сережа с молодых лет, по его собственному признанию, стремился отыскать смысл жизни, какую-то неведомую, но всего человека захватывающую и все для него просветляющую мудрость². Это в нем самое главное. И от сталинской идеологии он уверенно пришел к православному христианству. Богословие – наука, и тем самым оно близко ему и понятно, а философия непонятна уже тем, что она вроде бы тоже наука, но на самом деле нет. И эта ситуация не по нему: ему нужна определенность. Этому его научил мехмат. Художественный дух персоналистической установки, считал Алик, Сережа не чувствует, не признает его необходимым атрибутом персонализма. Для него персонализм нечто вроде математической системы аксиом и построенной на их основе системы аподиктических утверждений. «Персонализм строится на основе монадологии» – вот его главный содержательный тезис о персонализме. Ни Мунье, ни французский спиритуализм, ни другие течения западной мысли, близкие к персонализму, Сережу не интересовали. В фокусе его интересов всегда оставались русская

религиозная мысль в целом и русское лейбницианство в частности, которое уже только из-за солидной дозы содержащегося в нем рационализма Алик не мог считать настоящим персонализмом. Художественно и экзистенциально окрашенная философская мысль, столь близкая Соболеву, не привлекала его как философа. Да, Половинкин ушел от сталинского безбожия и пришел к православию, но следы идеологического способа (не) видеть мир, казалось Алику, у его спутника-оппонента остались.

Итак, в своем понимании персонализма Половинкин отталкивался от подчеркнуто рационалистического типа персоналистического мировоззрения, восходящего к Лейбницу: «Для русского персонализма, сложившегося в конце XIX – первой половине XX в., характерно полагание мира аритмологически расчлененным – счетным, зернистым, состоящим из отдельных единиц-монад» [Половинкин 2015, 8]. Такой персонализм, по крайней мере, на первый взгляд, мало чем отличается от философского атомизма, даже несмотря на то, что сами монады истолковываются спиритуалистически. В нем больше чувствуется космизм с неизбежно присущей ему обезличенностью, чем персонализм в собственном смысле слова, в нем больше мироздания в его целостности, чем личности, больше внешнего, чем внутреннего мира. Для Соболева же если это и персонализм, то не самый высокий его сорт, не совсем «то самое», чем нас так манила эта таинственная вокабула. Ведь в молодости слова, над которыми витала таинственная аура абсолютной значимости, властно шептали нам: «В нас истина! Мы есмь истина!». А как молодому человеку, еще не набравшему достаточного философского опыта, понять, почему превозносимый до небес «персонализм» действительно – истина? Такие вещи постигаются, если они вообще постигаются, с трудом и в течение долгих лет. От идеологически обескровленной традиции советской философской науки все мы отталкивались, уходя от нее в нечто другое. В этом «повороте-от» мы все сходились. И это было главным. А вот в характере и степени поворота, в конкретном воплощении его расходились и – порой весьма серьезно. Это надо иметь в виду, когда обсуждается различие концепций персонализма Половинкина и Соболева.

* * *

Не могу забыть одного из сумасшедших дней поздней «перестройки», когда я встретил одного из наших, Толю Ахутина, и он мне сказал: «Сходи обязательно в библиотеку иностранной литературы. Там Алик Соболев устроил выставку фотоматериалов, посвященную дворянским гнездам России!». Пафос был примерно такой: «Эка куда свернул, наш товарищ!». Все мы тогда были прозападной, казалось, ориентации. А тут – дворянская Россия! Выставку, конечно, я посмотрел. А потом на память о ней Алик мне подарил частичное ее воспроизведение в миниатюрном книжном издании. Смотрю на него и диву даюсь: в ней весь Альберт Соболев, ее составитель. Скромно, достойно, со вкусом и, главное, с любовью к милым дворянским семьям представлены в этой книжечке фотографии его любимых героев, их родных и близких. Фотографиям предпослана цитата из «Воспоминаний» Александра Бенуа, насыщенных чарующим ароматом художественной жизни Петербурга и России последних десятилетий XIX в. Приведу для ясности высказывание их автора в расширенном виде. В отличие от городского семейства Бенуа, – говорит мемуарист, – «помещицья природа Философовых давала всему их быту своеобразную прелесть... Это был тот самый класс, к которому принадлежали все главнейшие деятели русской культуры XVIII и XIX столетий, создавшие прелесть характерного русского быта. Это класс, из которого вышли герои и героини романов Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Толстого. Этот же класс выработал все, что было в русской жизни спокойного, добротного, казавшегося утвержденным навеки» [Бенуа 1990, 503–504]. Наряду с семейной хроникой С.Т. Аксакова Альберт считал эти мемуары одной из самых близких ему книг. Они репрезентируют его эстетический персонализм как нельзя лучше. Вслед за словами Александра Бенуа в миниатюрной книжечке следуют

семейные фотографии князей Трубецких и графов Шереметевых. Вот так, с первых же вводных слов этого издания Альберт оказался в соседстве со своим любимым художником Серебряного века, развивавшим дорогую для него тему о талантливых русских семьях: «Есть одаренные личности, но есть и одаренные семьи...» [Соболев 1991, 2]. У Альберта Соболева своей семьи не было. Тем сильнее и значительнее была у него мечта об одухотворенной, дружной, культурной семье, замечательные примеры которой ему щедро открывала русская история.

Пушкин для Альберта Соболева был не только великим поэтом, но и первым философом России, самым умным ее человеком. И надо полагать, что именно в великом русском поэте персоналистический идеал философского знания в соболевском его понимании был максимально реализован. Культура Франции была поэту не просто хорошо знакома, а являлась родной ему культурой, в которой он жил и мерками которой во многом мерил события и явления вокруг него. Ориентированный на Францию культурный идеал с его гуманизмом, обращенностью к человеку в гении нашего поэта творчески амальгамировался с отечественной традицией. В результате возникла высокая культура золотого – пушкинского – века. Для Альберта она служила безусловным камертоном для оценок явлений интеллектуальной жизни наших дней. И философию он мерил тем же аршином. Примечательно, что его борьба с «тевтонским пленением» русской мысли велась как раз с опорой на Пушкина. Однажды поэт, не без сожаления, высказался о московских «архивных юношах», продвигавших философский германизм в русскую культуру («ребята теплые, упрямые...»)³. В сознании Альберта Соболева великий русский поэт тем самым «перекликался» с таким мастером персоналистически «заточенной» эссеистики, как Монтень с его требованием «жить кстати» (à propos).

* * *

Альберт всегда был резок в оценках, радикален и пристрастен. Если Людовик XIV говорил «l'État c'est moi», то Алик, утверждая, что философское знание по своей природе персоналистично, не говорил ли по сути дела нечто подобное, а именно, что «философия это я, Альберт Соболев»? Пусть это преувеличение, но тон высказываний Альберта о философии и персонализме был сугубо догматическим, и потому провоцирующим, кстати, постоянные возражения Сергея Половинкина. По страстно выражаемому убеждению Соболева философское познание как персонализм сущностным образом лично, а значит, художественно артикулировано. Это открытие, считал он, сделано, скорее, во Франции, чем в Германии или в другой какой-то европейской стране: «Философия, по мысли французов, есть искусство персоналистического познания» [Соболев 2008, 40]. К счастью, считал он, для русской философии к концу XIX столетия окончился «полувековой период “тевтонского пленения”, когда слово “научный” произносилось не иначе, как с придыханием, а о специфике философского знания ничего членораздельного фактически сказано не было. Неудержимо надвигался пересмотр старых философских представлений, а то могло совершиться только на базе более утонченной духовной культуры, на базе более изощренной человеческой восприимчивости» [Соболев 2004, 74].

Читая эту заметку Альберта лет двенадцать назад, на полях против процитированных слов я написал только краткое «верно» в знак того, что всецело разделяю эту мысль. А вот теперь готов увидеть в ней компактно свернутую концепцию всего его персоналистического мирозерцания. Считая, что за период «тевтонского плена» «специфика философского знания» фактически осталась нераскрытой, Альберт имеет в виду свое толкование его своеобразия как художественно артикулируемого персонализма. Русское лейбницианство при этом, если мы принимаем соболевскую точку зрения, в счет идти никак не может. А это означает, что половинкинский персонализм и персонализм соболевский расходятся между собой, как два корабля, плывущих в разных направлениях и к тому же под разными флагами. Альберт считал, что половинкинский

дредноут плывет под германским штандартом, а свою каравеллу он видел бороздящей океан духа под галльским стягом.

Многие коллеги, слышавшие выступления Соболева и полемические реакции на них Половинкина, считали Альберта Васильевича просто не более чем строптивым противником научного стиля в гуманитарной сфере. Им он казался гонителем науки ради вытеснения ее какой-то необязательной «лирикой». Его мотивация, глубокие основания его мирозерцания при этом оставались в тени. Никто, кажется, не удосуживался поинтересоваться, откуда же и почему возникает подобная установка. Обязательность и необходимость строгой логики, ведущей к объективному знанию, мол, он упрямо хотел заменить субъективным произволом капризного воображения и мимолетной интуиции. Половинкину, в частности, тоже казалось, что Соболев почему-то хочет заменить научную логику исследования «паром» поэтической метафорики и какой-то неуместной в мире науки музыкальности. То, что для Половинкина у Соболева выступало «паром», сам он оценивал как свой метафизический «идеализм». В данном случае я бы предпочел сказать «спиритуализм», поскольку речь здесь идет не столько об идеях и идеальном, сколько о *духовном бытии*, которое прямо не открывается нашему взгляду, устремленному к вещам пространственно-временного мира. Этого рода «вещи» Соболев считал располагающимися в плоскостном измерении, доступным для научных методов познания. Предметность, доступная науке, рисовалась им как плоская, одномерная, линейная и «мертвая». К таким характеристикам он добавлял и социальные квалификации ее как познания «плебейского», «демократического», «всемского», оторванного от «трепетной сакрально-ценностной глубины реальности», от «сердечной глубины» духа [Соболев 2008, 40–43]. Соболев, по его собственному признанию, как и С. Франк, потрясенный Ницше, однажды уверовал в стихию духа как высшую объемлющую мир реальности: «Опытное обнаружение “атмосферы глубины духа” (или, как говорит С.М. Половинкин, “пара”) у меня, как и у Франка, произошло под влиянием ницшевской “шоковой терапии”. А уже философское оформление этого нового опыта я осуществлял, “консультируясь” с Франком и под его заметным влиянием» [Там же, 102]. Итак, ценностное возрастание уровней бытия в непостижимом, но не сокрытом его самооткровении, что так глубоко и проработанно демонстрирует Франк, Соболев с особой акцентировкой совмещает с требованием «художества» мысли.

Призыв Соболева к артистизму и духовному аристократизму как к такой настроенности гуманитарного духа, которая, по его мысли, способна поднять уровень философской культуры, для большинства коллег по цеху остался непонятым. Частично причиной этого непонимания, думается мне, было то, что для многих жизнь Альберта Соболева оставалась неизвестной, а в силу этого лично-биографические основания его позиции – скрытыми. Мне же довелось услышать рассказы о жизни Альберта из его собственных уст. Вместо рассуждений и «выкладок», как любил говорить выпускник мехмата Половинкин, приведу я лучше одну рассказанную Аликом новеллу, проливающую свет на истоки его художественного и даже, можно сказать, лирического персонализма. Обращение к вставным новеллам не только в духе Гёте. Это отвечает и духу художественно-персоналистического философствования в соболевском смысле. Я передаю эту новеллу так, как она мне запомнилась, рассказанная Аликом за несколько месяцев до его смерти:

Когда молодого Покровского в дни битвы на Курской дуге пригласили худруком в Большой театр, то однажды он оказался на репетиции постановки оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». Отзвучал последний акт, музыка смолкла. Покровского попросили высказать свое мнение. Он начал, как и все присутствующие, с объяснений, почему постановка получилась. И вдруг увидел, что Гаук, дирижер Большого, плачет. И вот Покровского пронзила мысль: если сам Гаук, великий Гаук, плачет, то какие тут могут быть слова? Ему открылось, что все самые умные, рационально выверенные оценки и суждения знатоков бессмысленны, все их бесконечные «за» и «против», если происходит ТАКОЕ! *Слезы сильнее логики.*

Другой рассказ Алика:

С пяти до десяти лет, – рассказывает он, – я пролежал в гипсе. Позвоночник мой благополучно догнивал. Но молодость брала свое, и однажды меня выписали из больницы. Я приехал домой. Стал ходить в школу. Был я тогда настолько слепо самолюбленным мальчишкой, что себя считал пупом Земли, а всех других презирал. Границ моему высокомерию и зазнайству не было. Однажды, разговаривая с одноклассником Сашей, я его, причем совершенно беспричинно, больно унизил, оскорбил. Моя мать все это видела и слышала (отца тогда уже не было с нами – он находился в лагере на Кольме). Как только обиженный мальчик ушел от нас, она сказала: «Альберт, как же неблагородно ты поступил!», и ушла в свою комнату. Тогда я не понял ее слов. Но пошел к ней, чтобы она объяснила, что же плохого я сделал тем, что отчитал Сашу за его глупости. Мать ничком лежала на кровати и плакала. Ее слезы пронзили меня насквозь. Этот случай я запомнил на всю жизнь. И, когда пришел час, понял, что слезы лучше логики знают, что есть истина и правда, а что ими не является.

Итак, слезы вызывают у самовлюбленного мальчишки глубокий шок, потрясение, служащее ключом, отпирающим потаенную до того «дверь» в неизведанную реальность. Благодаря личностному эмоциональному сопереживанию перед ним раскрывается неизведанное, но для довершения инициированного эмоцией познавательного события требуется последующее подключение разума, способного дать логически оформленный отчет об открывшейся благодаря такому сопереживанию реальности.

Шедеврами персоналистического познания, наряду с мемуарами Евгения Трубецкого, Соболев считал собрание писем и дневников русских религиозных философов, опубликованное Владимиром Кейданом в книге «Взыскующие града». Я не знаю, стоит ли на полях той страницы этой книги, на которой публикуется письмо Эрн к его жене от 15 сентября 1910 г., знак ЭП. Но я доподлинно, от самого Альберта, знаю, насколько для него важен был потаенный смысл этого письма, особенно следующего места. Вот оно:

Сегодня, – пишет Эрн, – я был по делу в редакции “Вопросов философии и психологии”. Застал там Лопатина, который заспорил со мной о первой части статьи, печатающейся сейчас в их журнале⁴, заспорил упорно, так что я непременно должен был отвечать и очень принципиально. Критика Лопатина сильна, но я чувствую, что моя позиция сильней, и наш спор все углубляется. Вдруг кто-то стукнул в дверь. Лопатин говорит: войдите. Вошла княгиня П. Трубецкая, жена покойного князя С.Н. Трубецкого. Спорить конечно перестали, все обратились к ней. Она села и стала отвечать на вопросы, говорить о своих детях. *Если спор Лопатина произвел на меня некоторое впечатление, то княгиня произвела на меня огромное впечатление. Я... впился в нее своим вниманием, стараясь разглядеть всю ту сложную, богатую и неизвестную мне жизнь, которая с ней связана, и живую часть которой она составляет. Я за ней чувствовал С<ергея> Н<иколаевича> и внимал с благоговением. Мне ужасно многое открылось такого, впрочем, неуловимого, что словом не выразишь [Кейдан 1997, 281].*

В душе Владимира Эрн вдруг столкнулись два типа, два образа познания. Диперсонализированное, рациональное, стремящееся к аподиктичности и доказательности своих утверждений, оперирующее эксплицируемыми понятиями познание вдруг лоб в лоб столкнулось с познанием интуитивным, транслогическим, предельно персонализированным. В случае философского спора речь идет о познавательном поединке, в котором побеждает сила логики, отвлеченного ума, действующего по общим обезличенным правилам. В случае же интуитивного познания живых людей в объемлющей их полноте конкретной жизни речи о соперничестве и победе в нем нет и быть не может. Такое познание сопровождается иной гаммой чувств. Нет чувства, что моя позиция сильна, что я тем самым силен, а мой противник слабее в этом отношении. Но есть чувство *благоговения* перед личностями, есть чувство *нев्यразимости* глубин жизни, которая вдруг приоткрывается. И есть еще, в данном случае у Эрн, чувство превосходящей значительности впечатления, порожденного личностным типом познания, по сравнению

с эффектом, произведенным логическим спором. Действительно, если спор с Лопатыным оставил у Эрн «некоторое впечатление», то явление княгини Параскевы Трубецкой произвело на него «огромное впечатление». Не рефлектируя, Эрн констатирует: явление княгини, жены умершего замечательного человека и выдающегося мыслителя, потрясло его куда сильнее, чем логическая перепалка с другим философом.

Можно по-разному описывать философское значение приоткрывшегося здесь противопоставления типов познания. Можно говорить, что Владимир Эрн еще раз убедился в превосходстве цельного живого и «объемного» познания над познанием чисто логическим, «плоскостным» и частичным. Но ведь дело здесь в ином: столкнулось явление интеллектуального «агона», спора логических начал (говоря словами Библера) с явлением духовного безмолвия как несказанной открытости, с явлением «какой-то духовной дали» (Вл. Эрн). Во втором познавательном значимом явлении и речи нет о силе «логических мускулов» (это выражение тоже из словаря В.С. Библера). Напротив, в данном случае смиренно познающий субъект обволакивается аурой женственной «пассивности», наделенной однако духовной высотой, и погружается в восприятие «духовной дали», рождающей в нем смутно проступающие в своих контурах горизонты, за которыми угадываются целостные пласты высокой интенсивной жизни, перед которой у него (здесь: у философа Эрн) нет другой позиции, кроме благоговения – почти религиозного. Говоря соболевским языком, в данном случае *слезы* столкнулись с *логикой* и продемонстрировали свое духовное превосходство. По крайней мере, в глазах Владимира Эрн, с которым солидаризировался бы, как нам думается, и Альберт Соболев.

Примечания

¹ Например, у Вл. Соловьева категория Сущего занимает ценностно более высокую позицию, чем категория бытия. Это связано с библейской традицией («Аз есмь Сущий...»), подключаемой Вл. Соловьевым к философской рефлексии вслед за Шеллингом. Кроме того, мы можем указать на аргументацию Г. Марселя против хайдеггеровской якобы неотменимости высшей значимости этого различия. Для французской философской культуры подобный ход мысли (как и многое другое у Хайдеггера) видится скорее как произвольный германизм, не обязательный для других философских национальных традиций. И, наконец, терминология Соболева, соединяющего «экзистенциальное», «ценностное» и «бытийное» как противоположное существующему, кажется нам внутренне противоречивой. Ведь по смыслу слова «экзистенциальное» оно производно от «существования», а не от «бытия». Так, например, это ясно видно, когда мы посмотрим на развитие философской мысли того же Марселя: у него экзистенциальный период (доминанта экзистенции по отношению к объективности) затем уступает место бытийной проблематике (выход к «онтологическому требованию»), что отвечает переходу от философствования о свободе к философствованию о бытии. Я указывал Альберту на эти моменты. Но он оставался при своей приглянувшейся ему терминологии.

² «Уже на втором курсе меня потянуло к философии, вернее – к какой-то неопределенной, но высшей мудрости» [Половинкин 2010, 5].

³ В письме к Дельвигу от 2 марта 1827 г.

⁴ «Природа философского сомнения». Опубликовано в указанном журнале (Т. 5. С. 309–324). Вошла в книгу «Борьба за Логос». См.: [Эрн 1991].

Источники и переводы – Primary Sources and Translations

Бенуа 1990 – Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В пяти книгах. Книги первая, вторая, третья. Издание второе, дополненное. М.: Наука, 1990 (Benois, Alexandre N., *My memories*, in Russian).

Кейдан (сост.) 1997 – Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках / Сост., подгот. текста, вступ. статья и комм. В.И. Кейдана. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997 (*Those who seek a city to come. Chronicle of the private life of Russian religious philosophers in letters and diaries*, in Russian).

Трубецкой 2000 – Трубецкой Е.Н., князь. Из прошлого. Воспоминания. Из путевых заметок беглеца. Томск: Водолей, 2000 (Troubetzkoy, Evgenii N., *From past. Memories. From travel notes of refugee*, in Russian).

Эрн 1991 – Эрн В.Ф. Природа философского сомнения // Соч. М.: Правда, 1991. С. 55–70 (Ern, Vladimir F., *The Nature of Philosophical Doubt*, in Russian).

Ссылки – References in Russian

Половинкин 2010 – Половинкин С.М. Русская религиозная философия. Избр. ст. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2010.

Половинкин 2015 – Половинкин С.М. Христианский персонализм священника Павла Флоренского. М.: РГГУ, 2015.

Соболев (сост.) 1991 – Дворянские гнезда. Люди и судьбы. Миниатюрный альбом / Сост. А. Соболев (Приложение к журналу «Полиграфия»). М.: Полиграфия, 1991.

Соболев 2003 – Соболев А.В. Радикальный историзм отца Георгия Флоровского // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2003. 6. М., 2004. С. 69–85.

Соболев 2008 – Соболев А.В. О русской философии. СПб.: Мирь, 2008.

References

Polovinkin, Sergey M. (2010) *Russian Religious Philosophy. Selected Articles*, Izdatel'stvo Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii, Saint Petersburg (in Russian).

Polovinkin, Sergey M. (2015) *Christian Personalism of the Priest Pavel Florensky*, RGGU, Moscow (in Russian).

Sobolev, Albert V. (comp.) (1991) *Noble Nests. People and Destinies. Miniature*, Polygraphy, Moscow (in Russian).

Sobolev, Albert V. (2003) “The Radical Historicism of Father Georgy Florovsky”, *Issledovaniya po istorii russkoy mysli. Yezhegodnik 2003*, 6, Moscow, pp. 69–85 (in Russian).

Sobolev, Albert V. (2008) *About Russian Philosophy*, Mir, Saint Petersburg (in Russian).

Сведения об авторе

ВИЗГИН Виктор Павлович –
доктор философских наук, главный научный
сотрудник Института философии РАН.

Author's Information

VIZGIN Victor P. –
DSc in Philosophy, Senior Research Scientist
of the Institute of Philosophy
of the Russian Academy of Sciences.